



10 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (часть 1)

Оглавление

Александр Куприн «Чудесный доктор»	1
Алла драбкина «Девочка, которая хотела танцевать»	6
О'Генри «Дары волхвов»	14
Ричард Матесон «Кнопка, кнопка»	17
Екимов Борис «За теплым хлебом»	25
Юрий Буйда «Продавец добра»	34
Майк Гелприн «Свеча горела»	34
Геласимов Андрей «Нежный возраст»	39
Виктор Астафьев «Зачем я убил коростеля?»	45
А.П. Чехов «В аптеке»	47

Александр Куприн «Чудесный доктор»

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я с своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!..
Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока



с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздьей ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разбуряемые морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и открыли ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, — женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!



— Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

— Ну, а ты?

— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Матушка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, — разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим.... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.



— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, спустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно... тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не обращившись.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подышают...



Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел...
Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

— Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливей и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубину этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малышки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:



— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, сывая образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

Алла драбкина «Девочка, которая хотела танцевать».

Знаменитая артистка выступала в школе, в которой она раньше училась. Поэтому артистка очень волновалась, хоть и привыкла выступать. Ведь в школе работали еще учителя, которые учили ее. Да и сама школа, стены, даже какой-то особенный запах, запах именно этой школы, который она помнила с детства, — все это волновало ее. Она помнила сцену, где впервые выступала с единственным четверостишием. Она тогда растерялась, и когда подошла ее очередь читать, почему-то охрипла и не смогла вымолвить ни слова. Хорошо, что ее выручила Наташка Сольцова, которая помнила текст.

До выступления к артистке подошел старый учитель физики и сказал, улыбаясь:

— Ты, конечно, не будешь говорить детям, что хорошо училась по физике?

— Нет, что вы...

— Это я так, шучу, чтоб ты знала о моем присутствии...



И артистка вдруг подумала, что можно говорить попроще, не боясь учителей.

— Я не знаю, что сказать вам, ребята, — начала она. — Я не умею говорить. В этой школе я училась. И вместе со мной учились хорошие люди. И каждый раз, когда я получаю новую роль, я вспоминаю школу, моих учителей и товарищей... Я помню почти всех, иногда даже играю кого-нибудь из них. Хорошая память обязательно должна быть у актера.

— А как вы поступили в театральный институт?

— Я залезла на стенку.

— Как это — на стенку?

— А мне задали такой этюд — сделать вид, будто я залезаю на стенку. Сказали, что если я не залезу, то меня не возьмут. И я залезла...

— Искусство требует жертв, — важно сказала одна из девочек.

Все засмеялись.

— Я так не думаю, — сказала артистка. — Вся моя жизнь была бы жертвой, если б я не стала актрисой. Искусство — это удовольствие и самое большое счастье. Счастье прежде всего для меня самой.

— Скажите, пожалуйста, а вы долго учились танцевать?

— Я танцую всю жизнь.

— С четырех лет, да?

— Всю жизнь.

— Станцуйте нам, пожалуйста, — попросила учительница пения. — Я вам сыграю!

Артистка подумала о том, что танцевать гораздо легче, чем говорить. И согласилась. Учительница пения села за рояль и стала играть вальс из спектакля «Русалочка». Артистка совсем по-девчоночьи потрянула головой и начала танцевать. Вначале движения ее были немного скованны, потому что она всегда волновалась именно на этой школьной сцене, но потом она подчинилась музыке, будто забыла о зрителях, закружилась, заколдовала, лицо ее стало прекрасным и значительным. Она танцевала, нет, просто летала по сцене.

Ребята смотрели на нее, раскрыв рты, и никто ничего не говорил. Слова были ни к чему, это всем ясно.

В первом ряду сидела девочка с запрокинутым лицом. Она сидела так потому, что если не запрокинуть лицо, то можно заплакать. А ей было стыдно плакать при всех.



Артистка кончила танцевать и смущенно, растерянно улыбнулась. Она всегда смущалась после окончания танца, и лицо у нее дрожало. Но она все-таки заметила девочку в первом ряду, которая с трудом сдерживала слезы. Что-то знакомое почудилось артистке в лице девочки, настолько знакомое, что она задержала на ней взгляд, хоть и понимала, что неприлично рассматривать человека, собравшегося плакать.

— Но ведь в спектакле вы танцевали совсем иначе, — сказала учительница пения.

— Да. Я всегда танцую по-разному...

— А почему?

— Не знаю. Это зависит от многого. От настроения, от погоды... — Артистка развела руками, не зная, как объяснить все проще.

Потом стали приходиться записки. В записках спрашивали, что надо делать для того, чтоб стать актером, обязательно ли будущему актеру быть отличником и совпадает ли ее последняя роль с ее характером.

Она сказала, что актером может быть всякий, кто этого по-настоящему хочет, но что хотеть этого очень трудно, что отличником быть не обязательно, но желательно, что роль Русалочки с ее характером не совпадает.

На одну записку артистка не ответила.

Вот эта записка: «Я хочу танцевать, но меня не приняли даже в кружок. И еще я некрасивая. Что делать?»

Почему-то артистке совсем не хотелось отвечать на этот вопрос при всех, к тому же ей показалось, что она знает, кто написал записку, потому что лицо девочки с первого ряда, показавшееся ей знакомым, было таким ожидающим! Артистка сказала:

— Тут есть еще одна записка, от одной девочки. Пусть она подойдет ко мне потом.

Сказав это, артистка поняла, что не ошиблась и совершенно верно угадала, кто написал записку, — так засветилось лицо девочки с первого ряда.

Девочка догнала ее на улице.

— Это я написала записку, — сказала она.

— Я знаю.

— Откуда?

— Я же не слепая. Я видела твое лицо.

— И вы заметили, что я некрасивая?

— Это тебе кажется. Мне нравится твое лицо.



— Зато коленки... Вы видите, какие у меня ужасные коленки? Я хочу танцевать, а меня не берут. Говорят, коленки торчат. А потом стали мне ногу назад загигать, а мне больно. Говорят, что я не гоюсь. А я не могу не танцевать.

— Так и танцуй себе на здоровье.

— Но меня не принимают.

— Меня тоже не принимали, — печально сказала артистка.

— Как, разве вы не учились?

— Только уже в институте. Да и то по танцу у меня всегда была тройка.

— Так как же вы теперь так здорово танцуете?

— Я всегда хотела танцевать.

— Вы так часто говорите хотела...

— Потому что это главное. И вообще идем ко мне в гости. И будем вместе танцевать.

— Вы? Со мной?!!

— Конечно. У меня дома много пластинок.

Девочка засияла от такого счастья. Она не заметила, что артистка была рада не меньше ее. У артистки не было детей, но она их очень любила. В школе она даже была пионервожатой в младшем классе. И завидовала учителям, ругала себя за то, что не стала учительницей, хоть и чувствовала, что учительский труд ничуть не легче актерского. Потому-то она и обрадовалась знакомству с девочкой, которая хотела танцевать.

Ей очень нравилось лицо девочки. Ей казалось, что когда-то она уже видела это лицо: толстогубое и беззащитное. Почему-то хотелось защищать человека с таким лицом.

По дороге они зашли в магазин и купили пельменей, пирожных, сгущенного молока и конфет. Потом еще зашли в рыбный магазин и купили салаки для кошки по имени Пепита.

Артистка жила в большой коммунальной квартире. Когда они шли по коридору, навстречу им попала некрасивая пожилая женщина.

— Опять кошка орет, как сумасшедшая! Опять ты где-то ходишь, — зло проговорила она.

Кошка была совсем маленькая, просто котенок. Она спала на своем коврикe, и только почувствовав запах рыбы, проснулась и кинулась к сетке с салакой.



— Я пойду приготовлю обед для нас и Пепиты, а ты можешь послушать музыку. Вот проигрыватель, вот пластинки.

Артистка вышла, а девочка поставила Венгерские танцы Брамса и стала играть с кошкой.

Артистка готовила обед и думала о девочке, которая хочет танцевать. Где она видела это лицо? Почему обратила внимание на девочку? Потом она вспомнила про то, как сама была девочкой и как ее тоже не принимали в хореографический кружок, потому что у нее торчали коленки и ей было больно, когда балетмейстер загибал ногу назад.

...Она стала танцевать сама. Но сначала она придумывала пьесы. В них играли ребята со всего двора. Правда, ей доставались самые плохие роли, потому что она никогда не умела командовать, и власть была в руках Вики Седовой. Вика была очень красивая и потому очень гордая. Она не потерпела бы, чтобы кто-то другой играл главные роли. Вика жила с ней в одной квартире, и днем, когда взрослые уходили на работу, их квартира превращалась в театр. Поперек коридора вешалось два одеяла, изображающих занавес, перед занавесом ставились все имеющиеся в квартире стулья и табуретки, на которых и усаживались зрители. Вначале зрителей было немного, но потом, когда все няньки и бабушки прослышали про спектакли, они стали являться со своими детьми, а иногда даже оставляли детей в «театре», а сами уходили по делам. Когда репертуар исчерпывался, то Зойка (так звали артистку) тут же сочиняла новую пьесу, а Вика быстренько распределяла роли, потому что считала, что только она одна и может это сделать. Главные роли она, конечно, брала себе, а Зойке давала второстепенные, а если и не второстепенные, то такие, в которых нужно быть некрасивой. Однажды, правда, Зойка играла главную роль — негритенка по прозвищу Снежок, но это только потому, что Вика не хотела пачкать себе лицо жженой пробкой. Этот спектакль зрители любили больше всего.

Уж очень ребятам нравилось, как негритенок Снежок вдруг выхватывал из кармана красный галстук и, размахивая перед носом злой учительницы-расистки галстуком, кричал:

— Ни-ко-гда! Ни-ко-гда мы не будем рабами!

Однако Вика успех этого спектакля раздражал, и однажды, когда негритенок Снежок произносил финальные слова, она размахнулась и изо всей силы ударила Зойку по лицу. Тогда их сосед Сережка, который играл сына миллионера, выскочил на сцену и залепил Вике довольно увесистую оплеуху. Вика была девчонка сильная, старше Сережки, да и ростом больше. К тому же она умела и любила драться, не заботясь о последствиях. Сережка ни за что не справился бы с Викторией, если бы не зрители. Им не нравилась злая учительница-расистка, которая бьет негритенка Снежку, поэтому они бросились к дерущимся, и Вике здорово влетело.

После этого случая Вика перестала со всеми разговаривать, и концерты устраивались без ее участия. Она попыталась мешать концертам, но Сережка с Витькой Петуховым несколько раз умудрились запереть ее в ванной, чтоб не мешала. Потом все как-то помирились, и жизнь потекла по-прежнему. Правда, Вика уже не дралась на сцене, но командовала, как и раньше. Она, например, считала, что умеет петь, хотя дворник тетя Маша, которая ходила на спектакли, как-то сказала вслух, что Викино пение



похоже на вой ветра в трубе. (После этого Вика стащила у тети Маши метлу.) Зойке, да и другим ребятам, расхотелось устраивать концерты и сочинять пьесы. Зойка сидела дома, заводила грустные пластинки и танцевала в одиночестве. Ей нравилось танцевать и даже казалось, что она хорошо танцует. Поэтому она и решила поступить в хореографический кружок.

Прежде всего она пришла в школьный кружок. Ей проиграли какую-то польку, она старательно протанцевала ее. Балетмейстер похвалила, а потом стала выворачивать ей ноги, проверяя их на гибкость. Это было очень больно, Зойка закусил губу, но все-таки заплакала.

— Не пойдет, — холодно сказала балетмейстер.

Потом Зойка пошла в детский кружок при Доме культуры. Там она тоже вначале танцевала польку, а потом опять плакала, когда ей выворачивали ноги. Напрасно она умоляла балетмейстера позволить ей хотя бы присутствовать на занятиях, — та была неумолима. Она сказала, что с такими коленками и слабыми ногами танцевать нельзя. Сказала, что не видит для Зойки никакой перспективы.

Только в Доме пионеров нашлась женщина, которая позволила Зойке присутствовать на занятиях, хотя на сцену ее никогда не выпускала. Она вообще вспоминала про Зойку только тогда, когда другие ребята теряли ритм и чувство музыки. Тогда она говорила:

— Смотрите на Зою! Хотя она все делает и безобразно, но музыку слышит.

Приходя домой из школы, Зойка становилась у большого зеркала и командовала сама себе:

— Плие! Батман плие! Гранд батман плие! Балансэ, балансэ! Первая позиция! Вторая позиция! Руки!

Коленки не подчинялись. Они выпирали. Руки с нелепо растопыренными пальцами гребли воздух. Плечи были напряжены.

Тогда она заводила танец Анитры и танцевала как умела. Она знала, кто такая Анитра. Это ужасная, хищная женщина, та, из-за которой Пер-Гюнт позабыл про Сольвейг. Ну и пусть у этой ужасной Анитры выпирают коленки, для такой, как она, и не нужно особой грации. Зато музыка стремительная, колдовская, такая, которая заставляет тебя забыть обо всем на свете и только танцевать, танцевать. Еще Зойка любила танцевать «Вальпургиеву ночь». Там тоже всякие черти и ведьмы, от которых вовсе не требуется идеальных коленок и всяких позиций.

Наташа Сольцова, которая тоже занималась в Доме пионеров в хореографическом кружке, уехала в другой город. Перед отъездом она подарила Зойке свою великолепную белую пачку, разрисованную золотыми кленовыми листьями. Эту пачку Наташе сделала ее мама, которая была художницей. Пачке завидовали все девочки в кружке, но Наташа подарила ее Зойке, потому что они дружили и еще потому, что Наташина мама очень любила Зойку и даже нарисовала Зойкин портрет.



Прийти в этой пачке в кружок Зойка постеснялась. Она спрятала пачку в тумбу письменного стола и надевала ее только тогда, когда никого не было дома. Но колени выпирали! Казалось, вот она, легкость, музыка несет тебя, не чуешь под собой ног, тебя кружит сама не знаешь что, ты летишь! И вдруг — зеркало. А в зеркале — деревянный человечек Буратино.

Однажды, когда Зойка танцевала в своей великолепной пачке, она не заметила, как вошла Вика.

— Что это на тебе такое? — с трепетом спросила Вика.

— Пачка... — растерялась Зойка.

— Дай надеть, а?

Зойка не умела отказывать. Вика примерила пачку и решила, что не может жить без балета. На следующее занятие в кружок она пошла вместе с Зойкой. После этого занятия Зойке пришлось из кружка уйти, потому что Вика рассказала всему двору, какая Зойка неуклюжая, как ее все время ругает руководительница кружка, как она ничего не умеет делать, но при этом еще смеет надевать великолепную балетную пачку.

Вик у кружок приняли сразу. У нее не выпирали колени, ей не было больно, когда ей выворачивали ноги, она сразу усвоила все позиции...

— Ну зачем тебе эта пачка? — сказала Вика. — Ты все равно никогда не будешь танцевать! Дай поносить!

Пачку она Зойке не вернула. Чудесную пачку, разрисованную золотыми листьями! Самую красивую пачку на свете.

Потом Зойка поступила в драматический кружок. Кружком руководил совсем молодой и очень добрый артист. Зойка играла Золушку, пела и танцевала на королевском балу, и никто не кричал ужасных слов вроде «плие» или «первая позиция». Она просто пела и танцевала, как ей хотелось. Потом ее приняли в театральный институт, потому что она залезла на стенку. Если б ей приказали пролезть в игольное ушко, она бы сделала и это, потому что знала — на этом свете она может быть только артисткой. Люди, которые принимали ее в институт, наверное, почувствовали это...

Артистка сварила пельмени и салаку для Пепиты и пошла в свою комнату. Девочка-гостья танцевала Венгерский танец. Она летала по комнате, лицо ее было до боли счастливым. И артистка вдруг поняла, откуда она знает это лицо. Она подбежала к письменному столу, вынула старый плюшевый альбом, начала быстро листать страницы, пока не нашла того, что искала. Она смотрела то на фотографию, то на смущенно застывшую девочку.

— Взгляни! — сказала она.

Девочка заглянула в альбом и попятилась.

— Кто это? — прошептала девочка.



— Это я в твоём возрасте.

— Но как же вы стали такой красивой?

— Я всегда хотела танцевать, вот и все.

— Я тоже хочу танцевать!

— Тогда снимай туфли и слушай меня. Мы будем танцевать под музыку Моцарта. Эта музыка вначале кажется очень радостной и утренней, но она — не о радости, не только о радости, а скорее о воспоминании радости. Она — как сон о счастье. Счастье, которое нам снится, всегда огромно. Счастливые сны надо помнить. Танцуй, как чувствуешь... Вспомни лучшие сны. Танцуй, девочка!

Артистка смотрела на девочку и думала о том, что девочка непременно будет танцевать. Эта девочка была похожа на нее, маленькую Зойку, и кто-то непременно должен был ей помочь.

В дверь постучали. В комнату вошла пожилая соседка.

— Опять топот? — сказала она. — У меня из-за тебя пироги не поднимаются.

— Послушай, Вика, — сказала артистка, — ведь от моей комнаты до кухни десять метров.

— Ну и что! — сказала соседка. — Все равно не поднимаются!

И она вышла.

— Разве я топаю? — удивилась девочка. — Я даже без туфель!

— Мы с ней вместе в школе учились, — сказала артистка, — и когда-то ее приняли в кружок танцев. И она была очень красивой, по-настоящему красивой. Только она не хотела танцевать. Она вообще ничего не хотела. А люди, которые ничего не хотят, очень быстро стареют и становятся некрасивыми. Теперь ты понимаешь, о чем я тебе говорила?

— Да.

— У меня есть балетная пачка. Она очень счастливая. Иди сюда, я посмотрю, как мне ее ушить, чтобы она пришлась тебе впору...

Девочка, которая хотела танцевать, бежала домой. Нет, она не бежала. Она танцевала, кружилась. И золотые листья взлетали с осеннего тротуара, вились вокруг нее, танцевали с ней вместе. И счастье девочки было таким огромным, какого не бывает даже во сне. Это было невозможное счастье. Девочка не только хотела танцевать, она уже танцевала!



О'Генри «Дары волхвов»

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее



величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпку, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполнский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на



лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь открылась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердись, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожденный блеск.



Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

Ричард Матесон «Кнопка, кнопка».

Пакет лежал прямо у двери — картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилия и адрес: «Мистеру и миссис Льюис, 217Е, Тридцать седьмая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016».

Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплён сложенный листок бумаги: «Мистер Стюарт зайдёт к вам в 20.00».

Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат.

Звонок в дверь раздался ровно в восемь.

— Я открою! — крикнула Норма из кухни. Артур читал в гостиной.

В коридоре стоял невысокий мужчина.



— Миссис Льюис? — вежливо осведомился он. — Я мистер Стюарт.

— Ах, да... — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца.

— Разрешите войти? — спросил мистер Стюарт.

— Я сейчас занята. Так что, извините, просто вынесу вам вашу...

— Вы не хотите узнать, что это?

Норма молча повернулась.

— Это может оказаться выгодным...

— В денежном отношении? — вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул.

— Именно.

Норма нахмурилась.

— Что вы продаете?

— Я ничего не продаю, — ответил он.

Из гостиной вышел Артур.

— Какое-то недоразумение?

Мистер Стюарт представился.

— А-а, эта штукавина... — Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. — Что это вообще такое?

— Я постараюсь объяснить, — сказал мистер Стюарт. — Разрешите войти?

Артур взглянул на Норму.

— Как знаешь, — сказала она.

Он заколебался.

— Ну что ж, заходите.

Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт.

— Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку, — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. — Кнопка соединена со звонком в нашей конторе.



— Зачем? — спросил Артур.

— Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрёт незнакомый вам человек, и вы получите пятьдесят тысяч долларов.

Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами.

Тот улыбался.

— О чем вы говорите? — недоуменно спросил Артур.

Мистер Стюарт был удивлён.

— Но я только что объяснил.

— Это что, шутка?

— При чем тут шутка? Совершенно серьёзное предложение...

— Кого вы представляете? — перебила Норма.

Мистер Стюарт смутился.

— Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее заверяю вас, что наша организация очень сильна.

— По-моему, вам лучше уйти, — заявил Артур, поднимаясь.

Мистер Стюарт встал с кресла.

— Пожалуйста.

— И захватите вашу кнопку.

— А может, подумаете день-другой?

Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь.

— Я оставлю свою карточку. — Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел.

Артур порвал ее пополам и бросил на стол.

— Как по-твоему, что все это значит? — спросила с дивана Норма.

— Мне плевать.

Она попыталась улыбнуться, но не смогла.



— И ни капельки не любопытно?..

Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду.

— Почему ты отказываешься говорить об этом? — спросила Норма.

Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной.

— Разве тебя это не интригует?

— Меня это оскорбляет, — сказал Артур.

— Я понимаю, но... — Норма продолжала наматывать волосы на бигуди, — но ведь и интригует?..

— Ты думаешь, это шутка? — спросила она уже в спальне.

— Если шутка, то дурная.

Норма села на кровать и сбросила тапочки.

— Может быть, это психологи проводят какие-то исследования.

Артур пожал плечами.

— Может быть.

— Ты не хотел бы узнать?

Он покачал головой.

— Но почему?

— Потому что это аморально.

Норма забралась под одеяло. Артур выключил свет и наклонился поцеловать её.

— Спокойной ночи...

Норма сомкнула веки. Пятьдесят тысяч долларов, подумала она.

Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку.

Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона.

Ровно в пять она набрала номер.



— Слушаю, — раздался голос мистера Стюарта.

Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя.

— Это миссис Льюис.

— Да, миссис Льюис? — Мистер Стюарт, казалось, был доволен.

— Мне любопытно.

— Естественно.

— Разумеется, я не верю ни одному слову.

— О, это чистая правда, — сказал мистер Стюарт.

— Как бы там ни было... — Норма сглотнула. — Когда вы говорили, что кто-то в мире умрёт, что вы имели в виду?

— Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть.

— За пятьдесят тысяч долларов?

— Совершенно верно.

Она насмешливо хмыкнула.

— Чертовщина какая-то...

— Тем не менее таково наше предложение, — сказал мистер Стюарт. — Занести вам прибор?

— Конечно, нет! — Норма с возмущением бросила трубку.

Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. Какая наглость! — подумала она. Я просто не возьму его. Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе.

Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль и глядя в окно. Немного погодя она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит.

— Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер, — сказала она.

Артур оторвался от обеда.



— Я тебя не понимаю.

Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку.

— А что, если это всерьёз?

— Ну и что тогда? — Он недоверчиво пожал плечами. — Что бы ты хотела — вернуть это устройство и нажать кнопку? Убить кого-то?

На лице Нормы появилось отвращение.

— Так уж и убить...

— А что же это, по-твоему?

— Но ведь мы даже не знаем этого человека.

Артур был потрясён.

— Ты говоришь серьёзно?

— Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за десять тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?

— А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании? — возразил Артур. — Прелестная девушка с соседней улицы?

— Ты нарочно все усложняешь.

— Какая разница, кто умрёт? — продолжал Артур. — Все равно это убийство.

— Значит, даже если это кто то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, — настаивала Норма, — кто то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку?

Артур поражённо уставился на нее.

— Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?

— Пятьдесят тысяч долларов.

— При чем тут...

— Пятьдесят тысяч долларов, Артур, — перебила Норма. — Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали.

— Норма, нет.

— Мы могли бы купить тот коттедж...



— Норма, нет. — Его лицо побелело. — Ради бога, перестань.

Норма пожала плечами.

— Как угодно.

Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон.

— По какому поводу? — с улыбкой спросил Артур.

— Без всякого повода. — Норма обиделась. — Просто так.

— Отлично. Мне очень приятно.

Она наполнила его чашку.

— Хотела показать тебе, что я не эгоистка.

— А я разве говорил это?

— Ну, — она неопределённо махнула рукой, — вчера вечером...

Артур молчал.

— Наш разговор о кнопке, — напомнила Норма. — Я думаю, что ты неправильно меня понял.

— В каком отношении? — спросил он настороженным голосом.

— Ты решил, — она снова сделала жест рукой, — что я думаю только о себе...

— А-а...

— Так вот, нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже...

— Норма, почему это тебя так волнует?

— Я всего лишь пытаюсь объяснить, — она судорожно вздохнула, — что думала о нас. Чтобы мы поехали по Европе. Чтобы мы купили коттедж. Чтобы у нас была лучше квартира, лучше мебель, лучше одежда. Чтобы мы, наконец, позволили себе ребёнка, между прочим.

— У нас будет ребёнок.

— Когда?

Он посмотрел на нее с тревогой.

— Норма...



— Когда?

— Ты что, серьёзно? — Он опешил. — Серьёзно утверждаешь...

— Я утверждаю, что это какие-то исследования! — оборвала она. — Что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах! Что они просто говорят, что кто-то умрёт, чтобы изучить нашу реакцию! Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?!

Артур не ответил; его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел.

Норма осталась за столом, отрешённо глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу...» Она пожала плечами. Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе...

Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. Как странно... ну что в ней особенного?

Норма вытянула руку и нажала на кнопку. Ради нас, раздражённо подумала она.

Что теперь происходит? На миг ее захлестнула волна ужаса.

Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. Нелепо — так много уделять внимания ерунде.

Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться.

Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой-мартини и взяла трубку.

— Алло?

— Миссис Льюис?

— Да.

— Вас беспокоят из больницы «Легокс хилл».

Норма слушала будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай.

Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на двадцать пять тысяч долларов, с двойной компенсацией при...

Нет. С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Никаких гвоздей или шурупов... Вообще непонятно, как она была собрана.



Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось — ни транзисторов, ни проводов... Коробка была пуста.

Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку.

Раздался голос мистера Стюарта.

— Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрёт!

— Моя дорогая миссис Льюис, — сказал мистер Стюарт. — Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?

Екимов Борис «За теплым хлебом»

В пять утра зазвенел будильник, но прежде его петушиного гласа встала бабка. Она уж из печи выгребла и затопила ее, когда затрещал будильник и поднялся со своей кровати дед Архип.

- Ну как там, не потеплело? - спросил он.

- Не чутко, - со вздохом ответила бабка.

Дед Архип валенки надел, стеганку и вышел из дома. В первую минуту, с избытого тепла, ему показалось, что на улице теплее вчерашнего.

Еще стояла глухая ночь. Чернели по белому снегу базы да сараи. Студеное небо светило просыным звездным инеем, а посреди - одинокая Жарничка горела льдистым огнем.

Архип пошел на улицу. Перед самыми воротами дорожка была переметена рыхлым снегом. Значит, не во сне, а наяву бушевал ночью ветер. И теперь дорогу на станцию тоже перемело и утреннего автобуса не будет. Зябко поеживаясь, Архип заспешил домой. А в доме уже печь гудела ровным огнем.

- Дуже тепло? - с усмешкой спросила бабка. - Телешом можно?

- Да потеплее... - неуверенно ответил Архип.

- Не брешы... - мягко укорила, жена. - Вон на окошке вторые шипки позамерзали, а у тебя все теплеет, под носом. Уж не ездил бы, переждал погоду. Да и праздник завтра. Добрые люди в праздник по домам сидят, не шалаются.

- А тама будут нас ждать? - указуя коротким толстым перстом в потолок, спросил Архип. - Пока мы отпразднуем? Да пока потеплеет? Тама тогда народу налетит... Туча черная... Тришкина свадьба...

Бабка в ответ лишь вздохнула.



- Вот так-то... - закончил `Архип. - Надо собираться, ехать. На автобус я уж не рискую. Вчера не было, а ныне и подавно. Уж развиднеется, тогда и тронусь. Пойду дозоревывать.

И Архип снова забрался в постель. Он уже вроде не спал, просто подремывал, временами проваливаясь в зыбкое забытие и тут же возвращаясь в явь. "А может, и пойдет автобус, - думалось ему. - А я разлеживаюсь. Сейчас уж, гляди, на центральную пошел. Крутанется - и назад. Добрые люди уедут. А может, и не пойдет. Вчера и в тот день не ходил, а нынче и вовсе мело..."

Хутор, где жили дед Архип с бабкой, лежал в тридцати километрах от райцентра. По летнему да сухому времени были те километры недалекими, тем более что дважды в день, утром и вечером, пробегал через хутор маленький шустрый автобус. После легкого дождя автобус ходил лишь по грейдеру, боясь увязнуть в хуторских колдобинах. Но то еще была не беда: до грейдера и пешком можно добраться, четыре версты всего. А вот непогода напрочь обрезала крылья. Осенняя ли весенняя долгая грязь, зимние глубокие снега да переметы, ставили автобусы на. прикол. И тут уж выбирайся, как говорится, своим средством. А лучше всего сиди и не рыпайся.

Деду Архипу сидеть было никак нельзя. В прошлом году он угля не достал и нынче дожигал остатнее. И совсем было приготовился на дровах зиму бедовать, когда узнал о постановлении. Сначала в конторе услышал, а потом газеткой раздобылся. В газете все было написано так, как и добрые люди говорили: льгота выходила бывшим фронтовикам, облегчение в жизни. И в конце напрямик было писано: "проявлять постоянное внимание". Эти слова дед. Архип теперь уже наизусть помнил.

Почитал старик газетку, с бабкой и другими людьми посоветовался и решил: надо в район ехать и добиваться топки, пока закон вышел. Прямо с нового года идти, не тянуть. Кто рано встает, тому бог дает, и кто раньше спохватится - легче будет.

Первые дни января Архип годил, давая людям отпраздновать да после праздника похмелиться. А потом завернул мороз с ветром, дороги в низинах перемело, и вот уже третий день не было автобуса. Два раза ходил Архип на грейдер, но попусту. И сегодня накрепко решил Архип домой с грейдера не ворочаться. Хоть на чем, да уехать. Дело было нешуточное: без угля зимовать тяжело.

Время подошло к семи. По радио из области начали передавать последние известия, Архип уши наострил, голос у приемника поубавил, чтобы бабка не слыхала. "По северу области до тридцати..." - наконец обрадовала дикторша. "И-и, глупая, - попенял ей дед Архип. - Заталдычила одно..."

- Чего там бубнишь? - спросила бабка. - Сколько объявили?

- Чего сколько? - притворился непонимающим дед Архип.

- Не придуряйся... Про погоду чего сказали?

- А-а, слухать их... - пренебрежительно ответил дед Архип. - Они здесь были, на хуторе? Видели они нашу погоду? Сидят в тепле, поустроились и брешут.

- Померзнешь на сухарь, - вздохнула бабка.

Архип наскоро умылся, сел к столу. Бабка принесла с печи в полотенце завернутый горячий хлеб. Привозили хлеб на хутор редко, особенно в непогоду, но люди приспособились. Черствую буханку заворачивали в полотенце, в широкую кастрюлю наливали воды, ставили миску, а в нее хлеб. Вода в кастрюле кипела, под крышкой хлеб отпаривался, становился волглым, мягчел.

Выпив стаканчик самогонки, Архип принялся щи хлебать. Жена сидела рядом, вздыхала.

- Ныне-то уж не вернешься... - сказала она;

- Дал бы бог добраться. А на ночь-то глядя... Уж завтра.

- У Василия ночуешь?



- А где же...

- Сон мне нынче привиделся, а к чему - не приложу, - задумчиво сказала жена. - Маму видала. Мама хлебы печет. Вынимает, хороший, такой хлеб, чую сладкий, и так мне хлебушка хочется. А она не дает. Я прям слезьми кричу: мамушка, родная, ну дай хоть кусочечек, хоть чуток. А она не дает. А мне так хочется... Такой у него дух, прям донельзя сладимый. Почему не дала? спросила бабка. - Либо чем обидела ее, не так помянула? Прям в голову не возьму.

- Солонечиху поспрошай, - усмехнулся Архип, - она разложит.

- Придется, - всерьез ответила жена. - Ты дюжей ешь. Щи и мясо. Я тебе и самогонки для этого дела налила. Дюжей наедайся, а то померзнешь.

- Не замерзну, - успокоил ее Архип. - Как пододенусь, нехай тогда...

Оделся он, как всегда, по-зимнему, по-стариковски: теплые белье, телогрейку и ватные брюки, валенки, овчинные рукавицы. Но теперь, в дорогу, он надел поверх всего зеленый плащ-"болонью". Его когда-то сын за ненадобность бросил. Но старикам плащ пришелся по нраву и впору. Он был легкий и плотный, ветра не пропускал.

- Ну, оставайся тут с богом, - сказал Архип.

- Ты там не задерживайся, - ответила бабка. - Праздник находит, а я одна. И сон, видишь, какой нехороший видала. Родная матушка хлебца не дала. А уж так хотелось...

Из своего двора вышел Архип ровно в девять часов. В эту же пору на центральной шоферы в гараж приходят. Пока они машины разогреют да соберутся, куда да сюда, пока тронутся, Архип к грейдеру подгребется. Вот и получится впору.

Красное с морозу солнце только что поднялось. Багровые дымы редким лесом вздымались над хутором; легко, словно тоже с морозцу, розовело небо, и вся глубоким снегом полоненная окрестность, и даже сороки, молчаливыми стаями сидевшие на деревьях, даже сороки отдавали розовым.

Особо не надеясь, а просто на всякий случай, завернул Архип на колхозный двор. Ехали две машины на станцию, за комбикормом, но с шоферами сидели грузчики. Больше ничего не предвиделось.

Дорога от хутора к грейдеру лежала прямая, торная, снегом ничуть не занесенная. Одет был Архип тепло, легкой была амуниция, тела не вязала, и потому шагалось хорошо. Мороза он особого не чувствовал, но в лицо дышала стылый холодом белая степь. Куржак кучерявился по краям шапки-ушанки. И время от времени Архип рукавичкою тер нос и щеки, чтобы не погнобить их.

День, судя по всему, должен выдаться удачным. Машины, конечно, пойдут, никуда не денутся. Так что добраться в район можно будет. И с углем должно выгореть, не зря ж в газете написано черным по белому. Эту газетку прихватил с собой дед Архип на всякий случай. Раз вышло такое указание, значит, и приказ из Москвы пришел: помогать всемерно. И уж чем-чем, а топкой помогут. Тем более зима такая стоит. И собрался он сразу, вовремя сообразив что к чему. Тут ведь тоже политика, Архип ее понимал: первым надо прийти, пока гуртом не полезли. Архип это понимал и радовался своей смекалке. Может, даже сегодня прикатит он в хутор с углем, прямо на машине. может, и завтра. Завтра, конечно, повернее. Нынче запишут, а завтра велят прийти. Так всегда бывает. Переночует он у племянника Василия. Вечером посидит с ним, бутылочку выпьют. Василий - человек грамотный, с ним и потолковать не грех. Посидят, побеседуют, А уж завтра, с углем, прибудет Архип домой.

Так, в добрых мечтаниях и по ровной дороге, добрался старик до грейдера. А на грейдере, возле кирпичного строения автобусной остановки, толпился народ.

- Здорово живете, добрые люди, - поднимаясь на полотно грейдера, весело проговорил Архип. - Заждались меня? Я вот он, прибыл. Теперь шумите, нехай машины едут.



- Шумим с ночи, - здороваясь, ответил знакомый из Вихляевки, - а они либо пооглохли,
- Не было автобуса?
- Был бы - уж уехали.
- Какая беда, - огорчился Архип, а в душе похвалил себя, что не пошел впотьмах, удержался.

Народу у остановки собралось немало. Стайка молодежи табунилась подле черного, прогоревшего кострища. Пальтушки на них были всякие: и добрые, и продувные, а прочая сбруя: брюки, юбки да чулки, а тем более обувь никудашные. Оттого и на месте им не стоялось: топотили да бились "на любка" - грелись. Знакомый из Вихляевки был с дочкой.

- В техникум провожаю, другой день не провожу, - объяснил он Архипу. Харчей наклали, одна не дотянет. Другой день выходим.

- А эти ребята либо тоже ученики?

- Кто откуда. С техучилища, школьники. Дубовские большинство да наши. Моей-то край надо, экзамены сдает.

- И прямо с ночи стоите?

- А то как же... Ныне в четыре поднялись, в полшестого здесь были. Вот и стоим дождаемся.

Народ собрался свой, с ближних хуторов, с Вихляевского, Тубы, с Малой Дубовки. Архип пошатался от одного к другому, поздоровался. От Малой Дубовки показались пароконные сани.

- Вот и уедем! - обрадовался Архип. - Посадимся и айда!

- Да-а, сейчас на лошадях далеко уедешь.

- А как же бывалоча в старые-то времена?

- В старое время лошади были да и одежда. Тулуп, добрый надеть, тогда и конечно.

А эти куда? - показал мужик на ребят да девчат.

- Да и тебя в твоей телогреечке быстро просифонит.

- Это верно, - согласился Архип.

Тем временем подъехали сани. Кроме кучера, сидели в них две женщины, укутанные коврами платками. Заиндевшие лошади ткнулись к будке; возница бросил им соломы и баб начал ссаживать. Одна была помоложе, с огромной, одеялом обмотанной ногой. Архип тут же к ней направился.

- Здорово живете. Это чего с тобой сделалось?

- Да ногу поломала. В гипсе. Теперь вот ехать надо. Велели приехать. Может, сымут.

- Какая беда... - заохал Архип.

Молодые ребята решили соломкой с саней подразжиться, чтобы костер запалить. Но возница их вовремя заметил.

- Куда тянете?

- Посогреться... Соломы, что ль, жалко?

- Я не для вас клал. Лошадям да сидеть. А соломой все одно не согреетесь. Лишь пыхнет. В лесополосе вон, хворосту наберите. Молодые, да ленивые.

Ребята его не послушались, за хворостом не пошли, а подожгли охапку все же унесенной соломы. Сгрудились над невысоким пламенем. Кто руки к огню тянул, кто распахнул одежку, чтобы тепло телом почуять. А кто промерзлые башмаки грел над пламенем.

- Гляди, штаны загорят, - остерег Архип.

Но штаны сгореть не успели. Пламя быстро угасло.



И наконец-то послышался гул, далеко, но явственно. От центральной усадьбы по грейдеру шла машина. Все разом стали выглядывать да гадать: одна ли машина идет да какая. Поклажу из кирпичной будки разобрали. А оказалось зря: зеленая "скорая помощь" с центральной усадьбы прошла и не остановилась. Правда, была она битком набитая. И через стекла видно, и шофер по горлу себе ладонью провел; дескать, полно, И укатила машина дальше.

- Твою мать... На центральной, как короли, живут, понасадились.
- Да можно бы еще взять, не схотел.
- Хозяин...

А в следующую минуту головы повернулись к той дороге, которой пришел Архип. Оттуда гудело. И скоро вылетели из-за лесополосы два "газона" самосвала. Выскочили они на грейдер и встали передом к станции, куда и направлялись. Это были те самые машины, что за кормами шли. В кабинах у них, кроме шоферов, грузчики сидели. Тут и проситься было некуда. Но минут десять спустя от центральной усадьбы еще три грузовика подвалило. Тоже на станцию, за кормами.

Начался тут гвалт и содом. Все разом бегали и просились, а проситься особо было некуда. В кабину много не поместишь, Да там уж и сидели. Уехали девчонка-студентка и двое мужиков. Хотели женщину уважить, с гипсом, да она не влезли. Молодняк в кузов просился, но шоферы их не взяли. И правильно сделали. По такой погоде в кузове не ездят.

После того как ушли машины и долго гудели, поднимаясь в гору, и долго чернелись на белом снегу, после того как затихли они, настроение упало. Каждый думал про себя, что и, он мог бы сейчас ехать в кабине уже далеко отсюда и скоро прибыть на место. Тут еще "козел" проскочил, не остановился, за ним "Москвич", полный. Бабы прижухли под убеленными инеем платками. Мужики стали ходить по дороге взад и вперед, набирая тепло. Архип тоже прошелся. Ветерок хоть и легкий был, но лицо прихватывал; оно дубенело, а в затишке горело огнем. Молодежь притихла, ребята, не переставая, курили, Наконец их совсем допекло.

- Костер давай! Согреемся!

И они стайкой скатились на откос, по колено и выше увязая в мягком снегу, и стали по лесополосе собирать сушняк, ломать сухие ветки. Потом соломкой разжились, нашли газету и долго разжигали огонь. Руками уже не владали.

К костру подошли и бабы. И тут Архип разглядел, что старая женщина под тяжелым платком - его давняя знакомая, Феня Чурькова. Она лишь недавно к младшей дочери в райцентр уехала.

- Либо ты, Феня? - подошел к ней Архип.
- Да, а то кто же.
- А я тебя не угадал. Укулемалась в этот платок. Ты откель же?

Не успели они и двух слов сказать, как новая тревога поднялась: шел "автобус. Молодые ребята начали костер топтать.

Снова вещички свои разобрали. В автобусе должны были все поместиться. Как сельди в бочке, но влезть. Как-нибудь, но доехать, а не стоять на таком морозе.

Тупоносый колхозный автобус, совсем пустой - это даже Архип разглядел притормозил, остановился. А когда кинулись к нему гурьбой, он тронулся, свернул налево с грейдера к хутору Малодубовскому и поплыл неторопливо, вперевалочку, оставив на дороге еще одного бедолагу с чемоданчиком.

- Куда? Куда он? - накинулись тотчас на него.
- В Малую Дубовку, собрание проводить.

- Да он туда не проедет, - сказал возница. - На лошадях еле проехали. Хоть спросил бы. Сейчас сядет, - пообещал он, не спуская с автобуса глаз.



Автобус, и точно, сел. Проехал немного, забуксовал, забуксовал.

- Вот так тебе и надо! - торжествовали на рейдере.

- Чего он туда? Для какого бесу?

- Собрание, говорю, проводить. Зоотехник поехал. Предвыборное собрание. За депутатов чтоб голосовали, агитировать.

- Еш твою... - шутливо заругался Архип. - Вот бы он в автобусе и проводил агитацию. Нас бы посадил и до самой станции читал да читал. Оттель снова взял людей, и их бы... Да мы б за него все голоса поотдавали, даже лишние, за такого хорошего. Ты нас только до места довези.

Молодежь встала кружком, пошущукалась и всем табором подалась по домам: четверо в Малую Дубовку, двое в Вихляевку. Те, вдвоем, рысью помчались, застучали по набитой дороге словно коваными промерзшими подметками башмаков.

Остались Архип, Феня Чурькова, женщина с гипсовой ногой, муж ее на лошадях - лошади уже в белой шубе стояли, понурившись, - и еще два мужика.

Архип всерьез начинал мерзнуть. Хотя н одет был неплохо, но полегонечку пробиралась к телу стынь. Просекал ветерок, и ноги коченели. Не шибко грела старая кровь. Но сдаваться он пока не хотел. Ребята, считай, шесть часов отстояли, а он лишь в девять из дому. Надо было терпеть.

- Еш твою... - пожаловался Архип. - Дураку надо бы самогонки взять. Глонул, и хорошо. - Лицо то чугунело и стало отдавать сизостью. - А то вот стой теперь. Либо "цыганочку" станцевать. - Хлопая себя по плечам и груди, он засеменил, на месте перебирая ногами. - Еш твою... Так бы бечь и бечь до самой станции.

- Тебе бы надо не сюда идти, а напрямик на Перещепной. Там Алексеевский рейдер, асфальт. Там машины всегда.

- На Перещепной, парень, нынче не дюже доберешься.

- А сколько там километров?

- Да бес их мерил. Пять, а може, семь, а може, все десять. Нет, десять не будет. А дорога тяжелая, по займищу. Где там лезть. Застрянешь в снегу. Потонешь навовсе. Туда я не рискую,

- Мерзни здесь.

- Чего ж, такая, значит, судьба, - ответил Архип и пошел к затоптанному костру, чтобы снова разжечь то.

Сухой хворост занялся сразу же, но жидкий его огонь грел лишь ладони рук и только.

Костерок быстро догорел, и призрачное тепло его быстро развеялось в студеное поле. Белая степь лежала вокруг, белая дорога дымилась поземкой, чернели вдоль дороги, в снегу по пояс вязки и клены, и не было никаких машин. Лишь синий автобус как застрял на пути к Малой Дубовке, так и стоял там неприкаянно.

Мохнатые от белого инея лошаденки покорно опушили головы и соломѹ не жевали. Мужик-возница, бросив окурок, сказал жене:

- Поехали, а то вторую ногу отморозишь. Ничего боле не будет. Тетка Феня, ты как? Или рискуешь?

- Да сама не знаю. Меня ждут. Чего же это такое сделалось? Погода совсем разорилась.

- Стихия... - ответил Архип. - Стихия.

- А може, нам бог поможет, - нерешительно оказала Феня.

И словно услышав старую Женщину, издалека-издалека, со стороны Малой Дубовки, донесся слабый, но явственный рокот. Это был рокот трактора.

- Автобус либо вытягать едут?

- Похоже.



- Его бы подале запихнуть, чтоб до весны сидел,

- Машина.

- Где?

- Трактор машину тянет.

- Либо из Большой Дубовки?

- А откель еще? Из Большой. Это на станцию они едут. До грейдера трактором, у них там балки непролазные.

- Може, на центральную?

- Не, на центральную прямая дорога.

Трактор рокотал все ближе и ближе, за ним, на тросу, тянулась машина с брезентовым верхом. И наконец они выехали на грейдер. Машину отцепили, Она шла в райцентр, на станцию, В кузове, под брезентовым тентом, было людно. Но уселись все. Архипу на лавочке места не досталось. Он пристроился почти у заднего борта, на запасном колесе.

Ехали долго. Заворачивали в Березовку, людей ссаживали, две свиные туши сдавали. Пришлось ждать. Мужик с головой, обмотанной бабьим пуховым платком, все охал, зубами маялся.

И в четвертом часу прибыли наконец в райцентр. Правда, Архипу подвезло: машина остановилась неподалеку от конторы, где выдавали уголь.

В поселке было теплее, чем в степи. Но Архипа, до нутра промерзшего за день, познабливало. Согрев был один - курево. И старик закурил, отряхнул с плаща и валенок снег и направился к воротам "Гортопа". Ему дважды приходилось покупать здесь уголь, и порядки были знакомы. По правую руку от входа стояла контора, но спешить туда Архип не стал, а прежде оглядел территорию. Уголь был. Возле рельсовых путей высился курган мелкой "семечки". Отдельно лежала куча доброго угля, антрацита. Обглядев эту картину, Архип вошел в контору. Там помещались три стола и сидели за ними женщины.

- Здравствуйте, дочушки, - снимая шапку, поздоровался Архип. - С праздничком вас, с рождеством Христовым. Или вы в городе такие праздники отменили? А я вот к вам пришел по-деревенски прославить, може, вы мне чего н подадите. - Он тонкую политику вел, подлаживался и немножко дурачка деревенского из себя строил. - Рождество твое, Христе боже, воссияй миру свет разума... Не славят у вас так-то вот?

Конторские женщины заинтересованно головы подняли.

- Нет, деда, у нас было, да прошло.

- А вот у нас до се славят. Ныне моя бабка конфетов приготовила, печенье, мелких денег. Родне и постарше какие - тем бумажные,

- Взрослые славят?

- А почему? Славят. Приходят как положено. - Архип, конечно, лукавил. Старое отошло. Из взрослых один на хуторе славильщик остался, Афоня Чертихин. Тот ходил. Остальные давно бросили. Но сейчас Архипу впечатление нужно было произвести, задурить бабам головы. - Приходят. А как же? Прославят. Вольешь им самогоночки...

- Ну, это и нашим мужикам покажи выпивку, они не то что бога, черта прославят,

- Точно! Запоют еще как...

И женщины, о пьянстве мужиков вспомнив, к Архиповым речам как-то, сразу остыли и спросили его:

- С чем пожаловал, деда? Угля нету.

- Как нету? А на дворе?

- Мало что на дворе... Мы же к тебе во двор не лезем, не высматриваем, где что лежит. Нету. Это учреждениям.

Полная женщина, в очках - она возле окошка сидела - догадалась:

- Да ты же и не наш? Ты где живешь? Откуда ты?



- С колхоза.

- Ну вот в колхозе и получай. Ты вывеску видал? Гор-топ. Мы теперь только город снабжаем. Понятно?

- Нету у нас в колхозе угля, не дают. Чего бы я ехал? Нету. Порошины нету. А у меня весь вышел. Чего же нам с бабкой теперь, померзать? Помогите, Христа ради. Вы - девчата хорошие, с праздником я вас поздравил. Поимейте снисхождение к старикам.

- Де-еда... Тебе русским языком говорят: гор-топ. Снабжаем только город. А сейчас и своим не даем. Понимаешь? Обращайся в колхоз. Вас теперь централизованно снабжают, отдельно. А мы ни при чем, понял?

- Куда же мне идти, дочушки? Поимейте снисхождение. Зима глядите какая. А топка, зарезает. Какие помоложе, на технике, те достают. А мы с бабкой кому нужны, пенсионеры. А в свое время трудились. И нынче я, по возможности... То сад сторожу... Фронт я прошел, - главный свой довод наконец выложил Архип. - Заслужил награды. Вот и удостоверение есть, начал он плащ расстегивать.

- Не надо твоих удостоверений. Тебе же говорят - в колхоз обращайся. А мы - гор-топ. В колхоз иди.

- В колхозе конь не валился. Чего я туда пойду? Порошины там нету угля. А вы обязаны... А как же... - стал запинаться дед Архип, все свои слова выговорив, и, расстегнув телогрейку, вынул на свет божий газету, которая лишь видом своим придала ему сил; и голос выправился, стал твердым. - Вот... правительство что говорит? - потряс он газетой. - Для участников войны в первую очередь! - Он даже воскликнул тонким, сорвавшимся фальцетом. - А вы мне голову кружите. - И снова в голос, чуть не в крик, проговорил наизусть, не глядя в газету; - Проявлять постоянное внимание!

Женщины, поняв, что старика не унять, терпеливо слушали его, а потом одна из них, самая молодая, спокойно спросила:

- Ты, деда, русский человек или нет? Мы же тебе объяснили...

Архип вдруг в единый миг понял: угля не дадут. Он понял, шапку натянул и пошел из конторы.

Время стояло не раннее. Короткий зимний день догорал желтым, режущим глаз закатом. Солнце уже утонуло за крышами домов до утра. И теплые звезды земных огней зажигались в домах.

На центральной площади поселка нещадно дуло, по серому асфальту шуршала поземка. А в домах, видно, было тепло, форточки открыты, даже двери настежь.

И как только подумал Архип о тепле, о покойном домашнем тепле, так сразу окоченел. Казалось, единым махом просек его до костей и насквозь студеной ветер. Архип сжался, пытаясь сохранить в теле хоть теплую крупицу. И скорее, скорее поковылял к магазинам, что стояли за площадью, справа. Там можно отогреться.

Он прошел полпути, когда пахнул ему в лицо сладкий запах свежего пшеничного хлеба. Архип споткнулся и стал, вначале ничего не понимая, он замер и стоял, вновь и вновь вдыхая этот благостный, добрый, почти забытый дух. Надышавшись властью и опомнившись, Архип пошел к хлебу, к магазину.

Хлеб выгружали из машины. Старик, глотая слюну, прошел в магазин, и голова его кругом пошла, опьяненная райским запахом хлеба.

Народу не было. Продащица в белом резала свежие буханки пополам и в четверть и бросала их на полки, прикрытые стеклом. Архип потянулся к четвертушке. "Я заплачу, дочушка, заплачу..." - пробормотал он и захлебнулся, когда в руке у него очутилась теплая горбушка. И стыдась, и; ничего не умея с собой сделать, Архип лишь успел шагнуть в сторону и, разломив четвертушку, начал есть ее. Так сладок был этот чистый пшеничный хлеб с упругой, хрусткой корочкой, с еще горячей ноздреватой мякушкой, так вкусен был и едов, что Архип не заметил, как съел четвертушку.



Последний кус проглотил и почувствовал, как теплый хлеб обогрел нутро и по жилам потек горячим током. А хотелось еще. И он снова подошел и взял четвертушку, оправдываясь перед продавщицей: "Я заплачу, дочушка, не бойсь, деньги есть. С дороги я, наголодался за день, намерзся... Теплый, хлебушко..." - дрогнул голос его.

- Ешь, дедушка, на доброе здоровье...

Вторую четвертушку дед Архип ел медленнее, но с еще большим вкусом. Он жевал и чуял языком и небом, пресную сладость пшеничника, слышал еле заметный и дразнящий дух хмельной кислоты и сахарную горчину корочки. Вторая четвертушка тоже кончилась. После нее деда Архипа ударило в пот. Перед продавщицей было стыдно, но хотелось хлеба еще. Сладкий дух его нагонял слюну.

- Уж прости, дочушка, я еще съем. Наскучал по свежему хлебушку. Сколько лет-годов теплого не ел.

Продавщица ничего ему не ответила, поглядела внимательно и ушла в свою каморку и скоро вернулась с полной кружкой горячего чая. Она и стул принесла, усадила деда Архипа возле подоконника.

- Садись, дедушка. Пей, ешь, отогревайся.

Горячая волна благодарности к незнакомому доброму человеку подступила к сердцу.

- Спаси Христос, моя доча, - тихо сказал Архип, опускаясь на стул. Спаси Христос.

После третьей четвертушки он сделался сыт, согрет и здоров. Допив сладкий чай, старик поднялся, деньги заплатил. Пора было правиться на ночлег, к племяннику. Но дед Архип, казалось, не мог уйти от этого доброго хлебного духа, от золотистых буханок, что трудились за стеклом. И хотя у Василия, конечно, был хлеб, но Архип не стерпел, купил буханку. Ее даже в руке держать было хорошо; чуять пальцами упругую корку, под которой горячей кровью бродило тепло неостывшей живой мякушки. Старик расстегнул плащ, телогрейку и осторожно упрятал буханку на груди., Хлебное тепло и дух теперь были с ним.

И вдруг о бабке, а жене, о родной своей старухе вспомнил Архип. Он вспомнил вдруг, как говорила она ему нынче утром о своем непонятном сне.

Что племянник, что его ночевье, что уголь - все это ерунда. А вот старухе хлебушка принести свежего, как обрадуется. Жизнь с нею прожили, много ли радовал. Может, лишь в молодости. А потом... Какая жизнь потом, долгая... И может, в последний раз, да, еще перед праздником, свежего хлебца ей, словно из вчерашнего сна, разговеться.

Архип вынул из-под полы, из-за ремня мешок, положил туда пять буханок. А ту, первую, оставил при себе.

- Спаси Христос, доченька, - поклонился он продавщице, - с праздником тебя.

За минуту наново все перерешив, Архип знал, что он будет делать. Он пойдет на Алексеевский грейдер и доедет до Перещепновки. А там, с асфальта, к ферме, ее огни будут видны. От фермы вниз, на луга займища, оттуда сено возят, дорога пробитая. Сроду там сено оставляли на зиму. От лугов взять правее, занесенные Чуриковы талы обойти. Потом левее, через летник, там тихо. Выходить на Пески, на Большие, на Малые городбища, а там - считай, дома. Он дойдет, доберется. И снега, и мороз - это не беда.

То ли еще было. Здесь все свое, родное, хоженое-перехоженое.

А за пазухой грел ему сердце теплый хлеб.



Юрий Буйда «Продавец добра»

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, – это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, – и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена – толстенная энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион Иванович, повинувшись ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много... и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много – да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое.

Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто отроду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует...»

Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо.

Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.

– Не желаете ли добра? – просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. – Вот. – Он протянул коробочку с подтеками клея на углах. – Не обижайтесь.

Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне.

В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово – «добро».

Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним – одним-единственным – смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.

Майк Гелприн «Свеча горела».

Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.

– Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?



Андрей Петрович взгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?

— Я, собственно... — собеседник замялся.

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то...

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.

— Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век... Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервис, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем... Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак... Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он... Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».



Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно... С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.

— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты... — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовая механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете... Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела...

— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.

— Непременно. Только вот... Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?



Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.

— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.

«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».

Лермонтов «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий...

Максим слушал.

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.

Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.

Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.

Классика, беллетристика, фантастика, детектив.

Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.

Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше нелегко.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.

— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?



— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашло от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.

«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения... По факту утилизирован.... Общественность обеспокоена проявлением... Выпускающая фирма готова понести... Специально созданный комитет постановил...».

Андрей Петрович поднялся. На негнувшихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал работа.

Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.

Андрей Петрович, преодолевая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?

— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.

— От... От кого?!

— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он... как его...

— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.

Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.

— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.

— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?

Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.

— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.



Геласимов Андрей «Нежный возраст»

14 марта 1995 года. 16 часов 05 минут (время московское).

Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду.

15 марта 1995 года.

И плаванием заниматься не буду. Надоело. Все равно пацаны ходят только для того, чтобы за девчонками подглядывать. В женской душевой есть специальная дырка.

Ходил к старухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, вперед. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Рок-н-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много.

Посмотрим.

17 марта 1995 года.

Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что одноклассники. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный расцвет дебилизма. Семенов лезет со своей дружбой. Может, попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?

18 марта 1995 года.

Отец не дает денег на музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не довожу до конца. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может, я будущий Рихтер? Старухе надо-то на гречневую крупу. Жмот. Но он говорит - дело принципа. Сначала надо разобраться в себе.

Было бы в чем разбираться.

"А ты сам в себе разобрался?" - хотел я его спросить.

Но не спросил. Побоялся, наверное.

19 марта 1995 года.

Опять не дали уснуть всю ночь. Ругались. Сначала у себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?

20 марта 1995 года.

Старуха дала какой-то древний черно-белый фильм. Сказала, что я должен посмотреть. Без денег учить отказывается.

В школе полный мрак.

Да будет свет, сказал монтер

И яйца фосфором натер.

Яйца, разумеется, были куриные. Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения.

Учителей надо разгонять палкой. Пусть работают на огородах. Достали.

23 марта 1995 года.

Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распутят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что.

Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга?

24 марта 1995 года.

В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я, конечно, могу не ходить, но денег он не вернет. Козел. Я спросил, не научит ли он меня играть на пианино.



Берешь автомат и стреляешь ему в лоб. Одиночным выстрелом.

25 марта 1995 года.

Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. Лучше бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, как все.

Переводишь автомат на стрельбу очередями и начинаешь их всех поливать. Привет вам от Папы Карло.

25 марта - вечер.

Прикол. Снова приходил Семенов. Уговорил меня выйти во двор. Предложил закурить, но я отказался. Сказал, что теннисом занимаюсь. Он начал спрашивать, где и когда. Я сказал, что ему денег не хватит. Тогда он уронил свою сигарету, а я взял и поднял. Он подошел очень близко и поцеловал меня в щеку. Я не знал, что мне делать. Постоял, а потом треснул его по морде. Он упал и заплакал. Я сказал, что я его убью. У меня есть автомат. Не знаю, почему так сказал. Просто сказал - и все. Достал он меня. Тогда он сказал, чтобы я не пересаживался от него в школе. Сидел с ним, как раньше, за одной партой. А он мне за это денег даст. Я спросил его - сколько, и он сказал - пятьдесят. У него откуда-то взялись пятьдесят баксов. И я сказал - покажи. У него, правда, было пятьдесят баксов. Я их взял и снова треснул его по морде. У него пошла кровь, и он сказал, что я все равно теперь с ним сидеть буду. Я врезал ему еще раз.

26 марта 1995 года.

Старуха взяла деньги Семенова и сказала, что ее зовут Октябрина Михайловна. Ну и имечко. В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она это терпит? Спросила: посмотрел ли я фильм?

А я даже не помню, куда засунул кассету. Не дай бог мама ее куда-нибудь зашвырнула. Она вчера много всего об стенку расколошматила. Может быть, ей купить автомат?

28 марта 1995 года.

Достали меня все. И этот дневник меня тоже достал. А не пойдешь ли ты к черту, дневник? А?

30 марта 1995 года.

Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы целая. Неужели придется ее смотреть?

1 апреля 1995 года.

Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: за что? Я сказал - за гомосексуализм. Он повернулся и врезал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал - дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха.

2 апреля 1995 года.

Водил на улицу котов Октябрины Михайловны. Ей самой трудно. Они рвутся в разные стороны как сумасшедшие. Мяукают, кошек зовут. Я думал - у них это только в марте бывает. Пять сумасшедших котов на поводочках - и я. Соседние пацаны во дворе ржали как лошади.

Ухо еще болит.

Октябрина Михайловна опять спросила про фильм. Его, наверняка, снимали в эпоху немого кино. Все-таки придется смотреть. Жалко ее обманывать.

3 апреля 1995 года - почти ночь.

Пацаны во дворе помогли мне поймать котов. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Один залез на дерево. Двое сидели на гараже и орали. Остальные носились по всему двору. Пацаны спросили меня - чьи это кошки, а потом помогли их поймать. Они сказали, что Октябрина Михайловна классная старуха. Она раньше давала



им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А потом просто давала им деньги. Даже когда они перестали охотиться. На мороженое - вообще на всякую ерунду. Когда еще спускалась во двор. Но теперь давно уже не выходит. Пацаны спросили - как она там, и я ответил, что все нормально. Только в квартире немного воняет. И тогда они мне сказали, что если хочу, то я могу поиграть с ними в баскетбол.

Вечером в комнату приходил отец. Сидел, молчал. Потом спросил про уроки. Они опять с мамой не разговаривают.

Может, он хотел извиниться?

4 апреля 1995 года.

Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется "Римские каникулы". Надо переписать себе обязательно.

5 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел таких... даже не знаю как назвать... женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас в классе учатся женщины.

Одри Хепберн - красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем дело.

6 апреля 1995 года.

Снова смотрел "Каникулы". Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает.

Сегодня играл с пацанами во дворе в баскетбол. Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. Он подошел, извинился и помог мне встать. А потом сказал, что не хотел бить меня два года назад, когда все пацаны собрались, чтобы поймать меня возле подъезда. Они хотели сломать мой велосипед. Отец привез из Арабских Эмиратов. Андрей сказал, что не хотел бить. Просто все решили, а он подчинился. Я ему сказал, что не помню об этом.

Мне тогда зашивали бровь. Бровь и еще на локте два шрама.

А завтра идем играть против пацанов из другого двора. С нашими я уже со всеми здороваюсь за руку.

Отец приходил. Сказал, что я сам виноват в том, что случилось первого апреля. Не надо было так по-дурацки шутить. Я сказал ему - да, конечно.

7 апреля 1995 года.

Мама говорит, что я достал ее со своим черно-белым фильмом. Она не помнит Одри Хепберн. Она мне сказала: ты что, думаешь, я такая старая? Смотрел "Римские каникулы" в седьмой раз. Папа сказал, что он видел еще один фильм с Одри - "Завтрак у Тиффани". Потом посмотрел на меня и добавил, чтобы я не забивал себе голову ерундой.

А я забиваю. Смотрю на нее. Иногда останавливаю пленку и просто смотрю.

Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше таких не было?

Одри.

9 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна показала мне песню "Moon River". Из фильма "Завтрак у Тиффани". Кассеты у нее нет. Когда пела - несколько раз останавливалась. Отворачивалась к окну. Я тоже туда смотрел. Ничего там такого не было, за окном. Потом сказала, что они ровесницы. Она и Одри. Я чуть не свалился со стула. 1929 год. Лучше бы она этого не говорила. Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад в Швейцарии. В возрасте 63 лет.

Какая-то ерунда. Ей не может быть шестьдесят три года. Никому не может быть столько лет.



А Октябрина Михайловна сказала: "Значит, мне тоже пора. Все кончилось. Больше ничего не будет".

Потом мы сидели молча, и я не знал, как оттуда уйти.

12 апреля 1995 года.

Я рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Не про то, конечно, откуда у меня взялись для нее деньги, а так - вообще. В принципе про Семенова. Она дала мне книжку Оскара Уайльда. Про какой-то портрет. Завтра почитаю.

Через две недели у меня день рождения. Думаю позвать пацанов из двора. Интересно, что скажет папа?

Он приходил сегодня ночью. Я уже спал. Вошел и включил свет. Потом сказал: "Не прикидывайся. Я знаю, что ты не спишь".

Я посмотрел на часы - было двадцать минут четвертого. Еле глаза открыл. А он говорит: "Вот видишь". И я подумал: а что это интересно я должен "вот видеть"?

Он сел к моему компьютеру и стал пить свое виски. Прямо из горлышка. Минут десять, наверное, так сидели. Он у компьютера - я на своей кровати. Я подумал: может, штаны надеть? А он говорит: с кем я хочу остаться, если они с мамой будут жить по отдельности? Я говорю - ни с кем, я хочу спать. А он говорит - у тебя могла быть совсем другая мама. Ее должны были звать Наташа. А я думаю - у меня маму зовут Лена. А он говорит - шлюха она. А я ему говорю - мою маму зовут Лена. Он посмотрел на меня и говорит: а ты уроки приготовил на завтра?

15 апреля 1995 года.

Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор. Те проиграли нам в баскетбол и не хотят отдавать деньги. Уговор был на двадцать баксов. Наши пацаны дней пять собирали свою двадцатку. Трясли по всему району шпану. Тех, у кого есть бабки. Раньше бы и меня трясли. Короче, высокий Андрей сказал - надо наказывать. Мне сломали ползуба. Теперь придется вставлять. Пацаны заглядывали мне в рот и хлопали по плечу. Андрей сказал - с боевым крещением.

В школе все по-прежнему. Полный отстой. Антон Стрельников влюбился в другую училку. Алгебра на этот раз. Придурок. Про Одри Хепберн он даже не слышал. Хотел сперва дать ему фильм, но потом передумал. Пусть тащится от своих теток.

16 апреля 1995 года.

Семенов пришел в школу весь в синяках. У меня тоже верхняя губа еще не прошла. Опухла и висит, как большая слива. Нормально смотримся за одной партой. Антон говорит, что Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь за что. Но Антон говорит, что он его постоянно колотит. С детского сада еще. Они вместе в один детский садик ходили. Говорит, что папаша бил Семенова прямо при воспитателях. Даже милиция приезжала. Но он откупился. Раздал бабки ментам и утащил маленького Семенова за воротник в машину. В машине, говорит Антон, еще ему добавил. А Семенов из машины визжал как поросенок. "Нам тогда было лет шесть,- сказал Антон.- Мы стояли вокруг джипа и старались заглянуть внутрь. Окна-то высоко. Слышно только, как он визжит, и посмотреть охота. А воспитательницы все ушли. Семеновский папаша им тоже тогда денег дал. Да и холодно было. Почти Новый год. Чего им на улице делать? Ну да - на следующий день подарки давали - елка там, Дед Мороз".

17 апреля 1995 года.

Дома больше никто не орет. Они вообще не разговаривают друг с другом. Даже через меня. Мама два раза не ночевала дома. Папа смотрел телевизор, а потом пел. Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни. В два часа ночи. Интересно, что подумали соседи?

Октябрина Михайловна говорит, что у детей проблемы с родителями оттого, что дети не успевают застать своих родителей в нормальном возрасте. Пока те еще не стали



такими, как сейчас. В этом заключается драма. Так говорит Октябрина Михайловна. А раньше они были нормальные.

Она говорит, что помнит, как мой папа появился в нашем доме.

"Он был такой худой, веселый. И сразу видно, что из провинции".

Оказывается, у мамы уже был тогда парень, почти жених. Октябрина Михайловна не помнит его имени.

Сегодня специально ходил по улицам и смотрел - сколько женщин походит на Одри Хепберн.

Нисколько.

Промочил ноги и потерял ключи. Жалко брелок. Если свистишь, он отзывается. Посвистел во дворе немного - бесполезно. Где-то в другом месте, видимо, уронил.

18 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна вспомнила, как папа (только он тогда был еще не папа, а просто неизвестно кто) однажды пришел на день рождения к маме в костюме клоуна. Шел в нем прямо по улице, а потом показывал фокусы. В подъезде и во дворе. Все соседи вышли из своих квартир. Она говорит - было ужасно весело. Все смеялись и хлопали.

Дочитал книжку Оскара Уайльда. Круто. Может, позвать Семенова на день рождения?

Ходил свистеть на соседнюю улицу. Губа почти не болит, но из-за сломанного зуба свистеть как-то не так. Брелок не нашелся. Вместо него появились те пацаны, с которыми мы дрались на прошлой неделе.

Еле убежал.

19 апреля 1995 года.

Сегодня приходил милиционер. Оказывается, высокий Андрей сломал одному из тех пацанов ключицу. Теперь его родители подали в суд. Я видел, как Андрей тогда схватил обрезок трубы, но милиционеру ничего не сказал. Я там, говорю, вообще не был. А он смотрит на мое разбитое лицо и говорит: не был? Я говорю нет.

Пацаны во дворе сказали мне - ты нормальный.

Я не предатель.

Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие - никак от него не закрыться. Он такой большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры.

Потом приснилась Одри.

20 апреля 1995 года.

Я умею играть "Moon River" на пианино. Одним пальцем. Октябрина Михайловна смеется надо мной и говорит, что остальные девять мне не нужны. Со мной и так все ясно.

Посмотрим.

Папа сказал, что костюм клоуна ему одолжил один приятель из циркового училища. Он говорит, что у него не было денег на нормальный подарок тогда.

"Какие подарки? Вообще не было денег. Пришлось корчить из себя дурака. Чуть от стыда не умер. А ты откуда узнал?"

Я говорю - от Октябрины Михайловны. А он говорит: ты где для нее деньги нашел? Я говорю - секрет фирмы.

Мама опять не ночевала дома.

21 апреля 1995 года.



Семенов сказал, что знает настоящее имя Одри. А я ему говорю - я думал, что Одри - настоящее. А он говорит - ни фиги. Ее звали Эдда Кэтлин ван-Хеемстра Хепберн-Рустон. Я ему говорю - напиши. Он написал. Я говорю: а ты-то откуда знаешь? Он говорит - я в детстве любил прикольные имена запоминать. Первого монгольского космонавта звали Жугдэрдемидийн Гуррагча. Я говорю - врешь. А второго? Он говорит - второго не было. Можешь проверить. А первого звали Гуррагча. Сам посмотри на Интернете. Там и про Одри Хепберн до фиги всего есть. Я говорю: например? Он говорит - ну, она дочь голландской баронессы и английского банкира. Снималась в Голливуде в пятидесятых годах. А до этого - в Англии. Я говорю: а ты зачем про нее смотрел?

Он молчит и ничего мне не отвечает. Я ему снова говорю. И он тогда пальцем показывает на мою тетрадь. Там четыре раза на одной странице написано: "Одри Хепберн".

24 апреля 1995 года.

Снова рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Она сказала - дело в том, что мы все в итоге должны умереть. Это и есть самое главное. Мы умрем. А если это понял, то уже не важно - каков твой друг. Просто его становится жалко. И себя жалко. И родителей. Вообще всех. А все остальное - не важно. Утрясется само собой. Главное, что пока живы. Она говорит, а сама на меня смотрит и потом спрашивает: ты понял? Я говорю - понял. Только Семенов мне как бы не друг. А она говорит - это тоже не важно. Вы оба умрете. Я думаю спасибо, конечно. Но так-то она права. Она говорит - потрогай свою коленку. Я потрогал. Она говорит - что чувствуешь? Я говорю - коленка. Она говорит - там кость. У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, понимаешь? Как в ваших дурацких фильмах. Как на кладбище. Он твой. Это твой личный скелет. Когда-нибудь он обнажится. Никто не может этого изменить. Надо жалеть друг друга, пока он внутри. Ты понимаешь? Я говорю - чего непонятного? Скелет внутри - значит, все нормально. Она улыбается и говорит - молодец. А вообще умирать не страшно. Как будто вернулся домой. Как в детстве. Ты в детстве любил куда-нибудь ездить? Я говорю - к бабушке. Она в деревне живет. Она говорит - ну вот, значит, как к бабушке. Ты не бойся. Я говорю - я не боюсь. Она говорит - умирать не страшно.

2 мая 1995 года.

Высокого Андрея арестовали. Не за ключицу. За нее, видимо, будет отдельный срок. Все получилось из-за Семенова. Семенов у меня на дне рождения без конца рассказывал всякую чепуху про черных рэпперов и хип-хоп. А пацаны из двора слушали его с раскрытыми ртами. Папа мне даже потом сказал - он что, из музыкальной тусовки? Я объяснил ему насчет Интернета. Но пацаны про Интернет не в курсе. Только в общих чертах. Они не знали, что Семенов меня заранее спросил - кто будет на дне рождения. Высокий Андрей мне на кухне сказал классный парень. Он что, типа из Америки приехал? А я говорю - просто читает много. Интересуется. Короче, они ушли вместе с Андреем и потом, видимо, где-то напились. Я не знаю, как у них там все получилось, но к утру джип семеновского папаши сгорел в гараже. Плюс еще две машины какого-то депутата. Он их от проверки там прятал. В Думе теперь шерстят за лишние тачки. Папаша бил Семенова ножкой от стула. Сломал ему несколько ребер и кисть левой руки. Наверное, Семенов этой рукой закрывался. Но от милиции откупил. Арестовали одного Андрея. Пацаны во дворе ходят груженные. В баскетбол перестали играть. Со мной не разговаривают.

11 мая 1995 года.

Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал - можно. Она говорит ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я говорю: это я странный? Она говорит - не хами. И смотрит на меня. Так, наверное, минут пять молчали. А потом говорит - я, может, уеду скоро. Я говорю - а. Она говорит может, завтра. Я снова говорю - а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я говорю - понятно. А



она говорит: чего ты заладил со своим "понятно"? А я говорю - я не заладил, я только один раз сказал. Сказал и сам смотрю на нее. А она на меня смотрит. И потом заплакала. Я говорю: а куда? Она говорит - в Швейцарию. Я говорю - там Одри Хепберн жила. Она говорит: это из твоего кино? Я говорю - да. Она смотрит на меня и говорит - красивая? Я молчу. А она говорит: у тебя девочка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит - ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю - наверное. На память пока не жалею. Тогда она встала и ушла. Больше уже не плакала.

14 мая 1995 года.

Октябрина Михайловна умерла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не буду.
г. Якутск

Виктор Астафьев «Зачем я убил коростеля?»

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой почувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удищем.

Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.



Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмысленного, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «...где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза...». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от губельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?



А.П. Чехов «В аптеке»

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выютюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволоочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выютюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!1

— Ja!2 — слышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

— Ja! — слышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

— Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что, дожидаясь немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

— Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этукую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся



читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоария и проч. За радиками замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»

С полком Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной уютной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

— Сейчас... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Внесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

— Рубль шесть копеек? — забормотал он, конфузясь. — А у меня только всего один рубль... Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

— Этого нельзя... У нас кредита нет...

— Как же мне быть-то?



- Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.
- Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...
- Не знаю... Не мое дело...
- Гм... — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку.... Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

Сноски

- 1 Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.).
- 2 Да! (нем.).